СЕРП
ЭДУАРД СЕРОУСОВ

# Эдуард Сероусов
# Серп

*https://litres.ru/74131529*
*SelfPub; 2026*

## Аннотация

Семнадцатилетняя Аня считает дни до отъезда из дома, где всё вращается вокруг её младшего брата Лёвы — восьмилетнего мальчика с редкой митохондриальной болезнью, умеющего «затихать» лучше всех. До свободы остаётся сорок три дня, когда над городом встаёт молчащий небесный хребет — не корабль, не гость, не собеседник. Мир готовится к войне или переговорам, но пришедшее не собирается ни воевать, ни говорить. Небо просто пришло собрать урожай. Жёсткая, холодная и болезненно человечная повесть-катастрофа о хрупкости, о том, что такое настоящее взросление под чужим равнодушным взглядом, и о цене одного взрослого выбора, который не сулит ни спасения, ни утешения.

# Содержание

Часть 1. Счёт 5
Часть 2. Жатва 18
Конец ознакомительного фрагмента. 26

# Эдуард Сероусов
# Серп

«Они не умирают. Они просто ждут». — так говорил мой брат про существ, которых любил.

# Часть 1. Счёт

Сорок три дня. Столько оставалось до отъезда — и, как выяснилось позже, ровно столько же до того, как небо перестанет быть небом. Но в тот вечер я знала только первое число и повторяла его про себя, как считают не дни до свободы, а шаги до двери, за которой наконец можно будет не думать ни о ком.

Я вела счёт в телефоне, зачёркивала цифру каждое утро. Это было единственное, что принадлежало мне целиком.

На кухне пахло варёной морковью и лекарствами — у нас всё пахло лекарствами, даже хлеб, даже я сама, если долго не выходила из квартиры. Мать разливала суп по трём тарелкам, потом спохватывалась и наливала четвёртую, себе, последней, как всегда последней. Отец сидел, не сняв рабочую куртку, и смотрел в стол так, будто в столешнице был ответ на вопрос, который он давно перестал задавать вслух.

— Аня, позови брата.

— Лёва! Жрать!

— Не говори так, — сказала мать без выражения. Она говорила это лет пять и уже не ждала, что подействует.

Лёва пришёл. Восемь лет, прозрачная кожа, под ней синие ниточки вен на висках — я знала их наизусть, эту карту, которую все в доме читали по сто раз на дню: не бледнее ли сегодня, не синее ли. Он сел, подтянув колени к груди, и

стал смотреть в тарелку так же, как отец, только у отца это была усталость, а у Лёвы — расчёт. Он прикидывал, сколько сможет съесть, чтобы потом не стало плохо.

— Морковь, — сказал он с отвращением, каким только восьмилетний умеет наделить овощ.

— Ешь, — сказала мать.

— От неё я оранжевый внутри.

— Ты и снаружи скоро будешь оранжевый, если не начнёшь есть, — сказала я, и он фыркнул, и на секунду это была просто семья, просто ужин, четыре человека и суп, и никакой карты вен, и никакого счёта в моём телефоне.

Секунда прошла.

Отец поднял голову.

— Марина Сергеевна звонила из школы. Насчёт продлёнки для Ани, чтобы она с Лёвой…

— Я уезжаю, — сказала я. — Через сорок три дня. Ты помнишь, что я уезжаю?

Тишина. Мать не перестала есть, но ложка её замедлилась, будто суп загустел.

— Аня, — сказал отец.

— Я поступила. У меня общежитие. Место. Всё. — Я слышала свой голос и ненавидела его — тонкий, злой, готовый сорваться. — Вы всё время говорите так, будто это ещё обсуждается.

— Никто не говорит…

— Все говорят. Каждый день. «Аня посидит», «Аня отве-

дёт», «Аня останется». Я не остаюсь. Я уезжаю.

Лёва смотрел на меня. Не обиженно — внимательно, тем своим взглядом, которым он смотрел на всё непонятное, будто хотел разобрать и посмотреть, что внутри. Я отвернулась первой. Я всегда отворачивалась первой, потому что если смотреть на него слишком долго, начинаешь чувствовать эту тягу вниз, эту нить, привязанную к запястью, и хочется её перегрызть, и стыдно, что хочется.

Я грызла ногти. Мать однажды сказала, что я обкусываю их до крови, потому что нервная. Я не нервная. Я считаю. Ногти — это тоже способ считать, только руками.

— Хорошо, — сказал отец тихо. — Хорошо. Ты уезжаешь.

И я поняла по тому, как он это сказал, что он мне не верил. Что никто из них не верил. Что где-то в глубине они уже вписали меня в расписание Лёвиной жизни — навсегда, на все годы, пока он будет хрупким, а он будет хрупким всегда, — и мои сорок три дня были для них капризом, который рассосётся сам.

Я доела молча. Считала ложки. Восемь, девять, десять. Вышло ровно.

После ужина отец ушёл на балкон.

У нас на балконе была его мастерская — верстак, тиски, банки из-под кофе, полные гвоздей, рассортированных по размеру. Отец всё сортировал, всё раскладывал по местам,

будто, если держать вещи в порядке, и жизнь удержится в порядке. Он чинил там всё, что ломалось, а ломалось у нас всё, потому что на новое не было денег: деньги уходили на Лёву, на лекарства, на анализы с длинными названиями, которые я так и не выучила.

Лёва пошёл за ним. Он всегда шёл за отцом на балкон — это было их, только их, — садился на низкий табурет и смотрел, как отец работает, и задавал вопросы, на которые никто, кроме отца, не отвечал всерьёз.

Я осталась в дверях. Не потому, что хотела быть с ними, — я говорила себе, что не хочу, — а потому, что уходить было ещё рано, а идти всё равно было некуда.

— Пап, а почему гвозди ржавеют?

— Потому что железо хочет обратно в землю. — Отец не отрывался от работы, зажимал что-то в тисках. — Его из руды достали, выплавили, а оно всё равно помнит, откуда взялось. И тянется назад. Ржавчина — это железо, которое возвращается домой.

— А мы тоже хотим обратно в землю?

Отец поднял голову. Посмотрел на Лёву долго — тем взглядом, которым смотрел на него всегда, будто украдкой проверяя, тут ли он ещё, дышит ли, не синее ли сегодня.

— Все возвращаются, — сказал он. — Когда-нибудь. Всё живое — из земли и обратно в землю. Но не сейчас, слышишь? Сейчас мы тут. — Он подмигнул. — Держи-ка. Только по пальцу себе не заедь, а то мать нас обоих со свету сжи-

вёт.

Он дал Лёве молоток — маленький, свой запасной, — и Лёва взял его обеими руками, серьёзный, как хирург, и стал забивать гвоздь в деревяшку, которую отец подложил специально, чтобы было чем занять руки, чтобы Лёва чувствовал себя не стеклянным, не тем, кого нельзя, а тем, кому можно молоток.

Гвоздь гнулся. Лёва бил криво, вскользь, гвоздь заваливался набок, и отец, не глядя, поправлял его двумя пальцами и говорил: «Не спеши. Прицелься и бей», — и Лёва прицеливался, высунув язык, и бил, и гвоздь входил на миллиметр, и Лёва сиял так, будто построил дом.

Я смотрела на это и чувствовала две вещи сразу, и они не мирились друг с другом. Одна была злая: вот, опять всё вокруг него, даже гвоздь — событие, потому что это Лёва, потому что Лёве можно, потому что Лёва хрупкий, а раз хрупкий — значит, всё внимание ему, всегда, а я просто есть, я здоровая, меня можно не замечать. Другая была не злая совсем, и её я стыдилась больше, чем злой. Она смотрела, как отец поправляет кривой гвоздь двумя пальцами, как Лёва высовывает язык, — и таяла, и хотела остаться в дверях подольше, и уже знала, что будет скучать по этому так, что задохнётся.

Я задавила вторую. Я всегда задавливала вторую — это было легче, чем с ней жить.

— Аня, — позвал отец, не оборачиваясь. — Иди сюда.

Подержишь.

— У меня уроки, — соврала я.

Он не стал спорить. Он никогда не спорил — просто кивнул и вернулся к работе, и я ушла в комнату, к телефону, к цифре, которую можно зачеркнуть. Сорок два. Я легла и слушала через стену, как они возятся на балконе, как стучит кривой молоток, как отец смеётся негромко, и как Лёва спрашивает что-то ещё про землю, про железо, про то, что возвращается, — и думала, что через сорок два дня меня тут не будет, и не буду я слушать этот стук через стену, и это хорошо, это то, чего я хочу.

Я и правда думала, что хочу.

Мне было семнадцать, и я не знала, что запомню этот вечер до последнего гвоздя. Что буду доставать его из памяти снова и снова, как достают из кармана единственную уцелевшую фотографию, — балкон, тиски, кривой молоток, отца, сказавшего: все возвращаются, но не сейчас.

Он ошибся только в сроке.

Приступ случился ночью, как они обычно и случались, — будто болезнь ждала, когда дом уснёт и некому будет держать лицо.

Я проснулась от звука. Не крика — Лёва никогда не кричал во время приступа, — а от какого-то дребезжания, частого, мелкого, будто внутри него что-то вращалось слиш-

ком быстро. Я знала этот звук. Все в доме знали этот звук и просыпались от него быстрее, чем от будильника.

Когда я вошла, мать уже была там, на коленях у его кровати, и отец возился с чем-то в темноте, и все двигались тихо и точно, как люди, которые делали это сотни раз. Лёва лежал на спине. Его трясло — не от холода, изнутри, — и кожа была влажная, и губы уже начинали синеть по краям, и грудь ходила часто-часто, будто он бежал, лёжа.

— Лёва, — сказала мать. — Лёвушка. Затихай. Ну. Затихай.

Про его болезнь врачи говорили длинными словами, которые я так и не выучила до конца. Что-то с митохондриями — с крошечными штуками внутри клеток, которые делают из еды энергию. У Лёвы они работали неправильно. «Другая батарейка», — говорил он сам. Иногда его тело будто пыталось разогнаться, дать энергии больше, чем могло, и захлёбывалось, и перегревалось изнутри, и тогда единственным спасением было — замедлить всё. Остановить. Затихнуть.

Он научился этому раньше, чем читать.

Я смотрела, как он это делает. Как он закрывает глаза — сам, без команды, — и начинает дышать по счёту, который знал только он. Медленнее. Ещё медленнее. Втягивает воздух через нос, держит, отпускает — и с каждым разом дрожь становится реже, и дребезжание внутри стихает, и грудь перестаёт метаться. Он замедлял себя, как замедляют падающий волчок ладонью. Гасил. Уходил куда-то вглубь, туда, где

тело почти переставало быть телом, где оно едва тлело, — и оттуда возвращался целым.

Это длилось долго. Это всегда длилось долго. Мать держала его руку. Отец сидел на полу, привалившись к стене, закрыв глаза, и я не знала, спит он или молится, или просто больше не может.

А я стояла в дверях и думала — и мне до сих пор стыдно за эту мысль, я пронесла её через всё, что было потом, — я думала: «Через сорок три дня меня здесь не будет. Через сорок три дня я буду спать всю ночь».

Лёва открыл глаза. Нашёл меня в темноте.

— Аня, — прошептал он. Голос был как бумага. — Я хорошо затих?

Что-то во мне сломалось — тихо, без звука, как ломается тонкий лёд.

Я подошла, села на край кровати. Мать подвинулась, дала мне место. Я поправила ему одеяло, хотя поправлять было нечего.

— Лучше всех, — сказала я. — Ты затихаешь лучше всех.

Он улыбнулся — слабо, но по-настоящему.

— Мама так и говорит. Что я умею затихать лучше всех. — Он помолчал, набираясь сил на длинную фразу. — Это единственное, что я умею лучше всех.

Под подушкой у него что-то было. Он всегда спал с этим. Резиновый водяной медведь — тихоходка, страшненькая, с ножками-обрубками, затёртая до белизны на выпуклых ме-

стах, потому что он держал её в кулаке, когда затихал. Он вытащил её и показал мне, будто я никогда не видела.

— Знаешь, что они умеют? — спросил он, и я знала, знала наизусть, но сказала:

— Что?

— Когда всё плохо. Когда нет воды, или холодно, или совсем нельзя жить. Они высыхают. Совсем. Как будто мёртвые. — Он смотрел на резиновую игрушку с восхищением, с каким другие дети смотрят на супергероев. — И лежат так. Год. Или сто лет. А потом капнешь водой — и они оживают. Как ни в чём.

— Я помню, Лёв.

— Они не умирают, Аня. — Он сжал игрушку в кулаке, закрыл глаза. — Они просто ждут.

Я сидела, пока он не уснул. Я говорила себе, что просто жду, когда он уснёт, чтобы уйти. Но я сидела ещё долго после, в темноте, держа его горячую руку, и грызла ногти свободной рукой, и считала — уже не дни, а его вдохи, медленные, ровные, живые, — и не могла уйти.

Женщину по телевизору я в первый раз почти не заметила.

Это было днём позже, в воскресенье, когда весь дом отсыпался после ночи, и телевизор бормотал сам себе на кухне, а я сидела рядом, потому что там была розетка, и заряжала

телефон, и зачёркивала очередную цифру. Сорок один.

Шло что-то вроде ток-шоу. Студия, ведущий с приклеенной улыбкой, и гости за полукруглым столом, и среди них — она.

Немолодая. Сухая, как ветка. Волосы забраны назад так туго, будто ей было некогда возиться с ними лишнюю секунду. Она сидела чуть отдельно от других гостей — я потом поняла, что она всегда сидела чуть отдельно, где бы ни оказалась, — и говорила ровным, точным голосом человека, который привык, что его перебивают, и научился укладывать мысль в промежутки.

Внизу шла подпись: «Д-р Марина Ковач, астробиолог».

— …проблема не в том, услышим ли мы ответ, — говорила она. — Проблема в том, что мы заранее решили, каким этот ответ будет. Мы готовимся к разговору. А контакт — это не обязательно разговор.

Ведущий улыбнулся шире.

— То есть вы всерьёз полагаете, Марина Сергеевна, что если к нам кто-то прилетит, он не захочет с нами даже поговорить?

— Я полагаю, — сказала она, — что «захочет» — это человеческое слово. Оно предполагает, что у той стороны есть желания. И что мы для неё — тот, с кем разговаривают. — Она чуть подалась вперёд. — Молчание — не всегда тактика. Иногда молчание значит только то, что в доме никого нет.

Студия засмеялась. Не зло — снисходительно, как сме-

ются над чудачкой, которую позвали для оживления эфира. Кто-то из гостей вставил шутку про то, что доктор Ковач, видимо, давно ни с кем не разговаривала, если считает молчание нормой, — и засмеялись громче.

Она не улыбнулась. Она посмотрела в зал спокойно, как смотрят на погоду.

Я взяла пульт, чтобы переключить. Мне было семнадцать, и мне было всё равно, прилетит к нам кто-нибудь или нет; у меня был свой отсчёт, свой отъезд, своя нить, которую нужно было перегрызть, — и какая-то сухая тётка в студии, над которой смеялись, была для меня просто фоном, шумом, розеткой рядом с диваном.

Я до сих пор помню, как мой большой палец лёг на кнопку.

Я переключила канал. И потом ещё лет — если считать в моей прежней, детской единице измерения — я думала об этом жесте. О том, как легко было не услышать. О том, что весь мир в тот день держал большой палец на кнопке.

Небо изменилось во вторник.

Я запомнила день, потому что во вторник я отводила Лёву на укол — раз в две недели, всегда по вторникам, — и мы возвращались через двор, когда я заметила, что люди стоят.

Не идут. Стоят. У подъездов, посреди дороги, на детской площадке — задрав головы. Женщина с пакетами. Двое ра-

бочих, бросивших носилки. Старик без шапки. Все смотрели вверх, в одну сторону, на юго-восток, туда, где над крышами, над водонапорной башней, над всем, что я привыкла считать высоким, — было что-то.

Сначала я подумала — облако. Странной формы, слишком ровное по краю, слишком тёмное для облака в ясный день. Оно стояло над горизонтом неподвижно, и от него не шло ни звука, и это было первое, что было неправильно: такая огромная вещь — а тишина. Самолёт гудит. Гроза рокочет. А это молчало.

— Аня, — сказал Лёва. Он держал меня за руку крепче обычного. — Что это?

— Не знаю, — сказала я.

— Оно далеко?

Я не знала, как ответить. Оно было далеко — и всё равно занимало полнеба. Значит, оно было не далеко. Значит, оно было огромным настолько, что «далеко» переставало иметь смысл.

Телефон в кармане завибрировал. Раз, другой, третий — сообщения посыпались одно за другим, и я вытащила его, и увидела, как экран заполняется чужой паникой: ссылки, обрывки, заглавные буквы. «ВЫ ВИДЕЛИ». «ЧТО ЭТО». «НАД ГОРОДОМ». И новостные строки, набранные наспех, противоречащие друг другу: неопознанный объект, атмосферное явление, никакой опасности, оставайтесь дома, не паникуйте.

Никто не знал. По тому, как захлёбывались новости, я поняла: никто не знал ничего.

Я подняла глаза от телефона. Двор молчал вместе с небом. Даже дети на площадке перестали кричать — стояли, задрав головы, забыв про качели. Женщина с пакетами тихо опустила их на асфальт, будто ей вдруг стало не до них.

И я вспомнила — не мыслью даже, а холодком под кожей — сухую тётку из студии, над которой смеялись. «Молчание значит только то, что в доме никого нет».

— Пойдём домой, — сказала я, и голос вышел чужой.

Лёва не двинулся. Он смотрел вверх, и на лице у него не было страха — было то самое внимание, желание разобрать и посмотреть, что внутри.

— Оно тихое, — сказал он. — Аня, смотри, какое оно тихое.

Я потянула его за руку. Мы пошли домой, а тень над юго-востоком не двигалась, не гудела, ничего не требовала — просто стояла, огромная и молчащая, и от её молчания у меня немели пальцы.

Я не зачеркнула в тот вечер цифру в телефоне. Не потому, что забыла.

Просто впервые за долгое время сорок дней до отъезда перестали быть тем, что нужно считать.

# Часть 2. Жатва

К утру среды оно встало целиком.

Ночью его не было видно — только зарево там, где оно закрывало звёзды, чёрный провал в звёздном небе, будто кто-то вырезал ножницами кусок. А на рассвете, когда встало солнце, встало и оно, и весь город вышел на улицы и балконы, чтобы увидеть.

Это был не корабль. Слово «корабль» предполагает нос, корму, что-то, сделанное для движения, для нас понятного. Это был — хребет. Горный хребет, поднятый в небо и поставленный там, где ему не место. Оно тянулось от края горизонта до края, серо-стальное, изломанное, с гранями размером с город, и не отбрасывало правильной тени, а лежало на земле пятном сумерек, в котором тонули целые районы. Оно стояло так высоко, что верхние его грани ловили солнце, которого внизу, у нас, ещё не было.

И оно молчало.

Три дня оно молчало.

Мир в эти три дня делал то, что свойственно людям. Мир готовился. По телевизору — который теперь не выключался ни в одном доме — показывали, как поднимают в воздух самолёты, как выдвигают к окраинам машины с длинными стволами, как в столицах собираются люди в костюмах, чтобы решить, что говорить, когда с той стороны заговорят.

Одни готовили войну. Другие — переговоры. И те и другие исходили из одного: что напротив — кто-то. Равный. Враг, которого можно испугать. Собеседник, которого можно убедить. Субъект.

Отец не отходил от экрана. Он сидел в куртке, как всегда, будто в любую минуту мог понадобиться, и смотрел, как военные аналитики чертят стрелки, и качал головой.

— Ничего они не знают, — говорил он. — Смотри, как уверенно врут. Ничего не знают.

Мать держала Лёву при себе неотступно. Она и раньше держала, но теперь — как держат, когда над домом собирается гроза: чтобы под рукой. Лёва один не боялся. Он рисовал хребет в небе цветными карандашами, снова и снова, и все его рисунки были неправильные, потому что настоящий хребет нельзя было уместить на листе, но он рисовал, высунув язык от усердия.

— Оно не злое, — сказал он мне на второй день. — Знаешь почему? Злое бы уже что-нибудь сделало. А оно просто стоит.

— Может, оно думает, — сказала я.

— Не-а. — Он закрасил ещё одну грань серым. — Думают, когда решают. А оно уже всё решило. Оно просто пришло.

Я тогда не поняла, что он сказал. Он и сам, наверное, не понял. Но он был ближе всех к правде — восьмилетний, с языком набок, — потому что смотрел на небо без нашей

главной ошибки. Мы все смотрели вверх и спрашивали: «Чего оно хочет от нас?» А он спрашивал только: «Что оно такое?» И это были очень разные вопросы.

Ту женщину — Ковач — я увидела снова на третий день, в последний раз перед тем, как всё началось. Её вытащили в прямой эфир, видимо, вспомнив, что она из тех немногих, кто говорил о таком раньше. Она выглядела так же — сухая, отдельная, — но теперь студия не смеялась. Теперь её слушали, потому что больше слушать было некого.

— Вы всё ещё считаете, что оно не станет с нами говорить? — спросил ведущий, и в голосе уже не было улыбки.

— Я считаю, что оно, возможно, не видит, с кем тут говорить, — сказала она. — Мы всё это время задаём один вопрос: враги они или друзья? Но это наш вопрос. Он предполагает, что мы — сторона. — Она смотрела прямо в камеру, будто говорила не студии, а каждому в отдельности. — А что, если мы не сторона? Что, если для того, кто пришёл, мы вообще не «кто», а «что»?

— Что вы имеете в виду?

— Я имею в виду, — сказала она, и голос её впервые дрогнул, — что бывает контакт, который не разговор и не война. Бывает контакт, который — сбор урожая.

Ведущий открыл рот, чтобы ответить.

Он не успел.

Спуск начался без предупреждения, потому что предупреждать было некому и незачем.

Я стояла у окна, когда от нижних граней хребта отделилось первое. Их было много — не понять сколько, они сыпались вниз медленно, лениво, как семена с исполинского колоса, и разлетались над землёй, каждое к своему участку, размеренно, по сетке, будто небо расчертили заранее.

Сборщики.

Я не знала тогда этого слова. Мы все потом стали называть их так, но в ту минуту у меня не было слова — было только то, что я видела, а видела я, как одно из них снизилось над полем за окраиной, за последними домами, над жёлтой стернёй, где летом росла пшеница, — и поле исчезло.

Не сгорело. Не взорвалось. Исчезло. Только что была земля, бурая, убранная под зиму, — и вот на её месте голый серый грунт, гладкий, будто соскоблённый, а над ним поднимается что-то похожее на снег. Мелкое, серое, лёгкое. Оно висело в воздухе и медленно оседало, и я поняла с ужасом, от которого свело живот, что это и есть поле. То, что от него осталось. Прах.

— Мама, — позвала я. Голос не слушался. — Мама, иди сюда.

Она подошла. Посмотрела. И я услышала, как она перестала дышать.

Сборщик над полем двинулся дальше, к следующему участку, ровно, без спешки, и за ним оставалась серая гладь

и оседающий пепел, и он снимал землю слой за слоем, как снимают кожу, — леса, поля, посадки вдоль дороги, всё, что было живым и зелёным даже сейчас, в конце осени, — всё это уходило в ничто и поднималось прахом.

— Они убирают, — сказала мать шёпотом. — Господи. Они нас… убирают.

Отец уже был у двери.

— Уходим. Собирайтесь. Быстро. Лёва, куртку. Аня!

Я не двигалась. Я смотрела, как ближайший сборщик — тот, что шёл вдоль нашей улицы, — приближается, и как перед ним по тротуару бегут люди. Я видела их сверху, со второго этажа: они бежали от него, как бегут от волны, и это было бесполезно, потому что он двигался не быстро, но неотвратимо, и над ним — я увидела это впервые и не смогла отвести глаз — плыл свет.

Он не был ярким. Он был холодный, ровный, без блеска — скорее не свет, а взгляд. Он стелился над бегущими, скользил по спинам, и там, где он проходил, люди…

Я не могу описать это правильно. Я пробовала потом много раз и не смогла. Они не падали. Они переставали быть. Свет касался бегущего человека — и на бегу, в середине шага, человек рассыпался, и оставалась только одежда, оседающая на асфальт пустой тряпкой, и над ней — тот же серый снег, что и над полем. Куртка. Ботинок, откатившийся в сторону. Пепел.

Как отработка. Как то, что остаётся после того, как забра-

ли нужное.

— АНЯ! — Отец схватил меня за плечо, рванул от окна. — Уходим, сейчас же!

Мы бежали по лестнице — я, Лёва на руках у отца, мать сзади, — и дом дрожал, и снаружи не было ни грохота, ни сирен, только эта страшная тишина, в которой слышно было, как оседает пепел. Мы выбежали во двор, в толпу, которая уже не была толпой, а была стадом, бегущим в никуда, потому что бежать было некуда — сборщики шли со всех сторон, размеренно смыкая сетку.

Отец бежал впереди, к арке между домами, к переулку, где, может быть, был просвет. Я держалась за его куртку. Лёва смотрел назад, через его плечо, прямо на приближающийся свет, и лицо у него было — я запомнила это навсегда — не испуганное. Знающее.

Он начал затихать.

Я почувствовала это по тому, как обмякла его рука в моей. Он делал то, что делал всегда, когда становилось совсем плохо, — уходил вглубь, гасил себя, замедлял. Инстинкт. Тело, привыкшее спасаться единственным доступным способом.

— Лёва, не сейчас, — сказала я на бегу. — Держись, слышишь, не отключайся, держись за меня…

Мы почти добежали до арки.

Свет догнал нас за три шага до неё.

Я не видела, как это случилось, — я смотрела вперёд, на арку, на просвет. Я только почувствовала, как исчезла тя-

жесть куртки в моём кулаке. Отец бежал впереди меня — и вдруг его не было. Была пустая куртка, оседающая на землю, и Лёва, выпавший из растворившихся рук, — я поймала его, не думая, у самой земли, прижала, — и был ботинок отца, откатившийся к стене, и серый пепел, поднявшийся там, где секунду назад был человек, который нёс моего брата.

Мать закричала за спиной. Один раз. Коротко.

Потом не было и крика.

Что-то ударило нас — не свет, воздух, толчок от него, — и швырнуло в сторону, в узкий провал между аркой и мусорными баками, в бетонный закуток, куда не заглянуло солнце и куда, как оказалось, не заглянул сборщик. Я упала на Лёву сверху, накрыла его собой, вжалась в холодный бетон, и над нами прошёл свет — я видела его край в полуметре от своего лица, ровный, безразличный, читающий, — прошёл и не нашёл нас. Пропустил. Скользнул по стене и ушёл дальше, за арку, туда, где ещё оставались бегущие.

Я лежала, не дыша. Подо мной, тоже не дыша, лежал Лёва — затихший до предела, едва тёплый, почти неотличимый от неживого.

Пепел оседал на нас сверху. Я не знала, чей.

Я подняла голову ровно настолько, чтобы увидеть двор. Там, где были отец и мать, лежали две куртки и оседала серая пыль. Сборщик уходил, размеренно, за дома, унося свой холодный свет, и за ним оставалась пустая, соскоблённая земля.

Восемь минут. Наверное, восемь минут прошло с того, как первое семя отделилось от хребта, до того, как я стала единственным, что осталось у Лёвы, и он — единственным, что осталось у меня.

Я не считала эти минуты. Я разучилась считать в ту секунду, когда исчезла куртка в моём кулаке.

Мы пролежали в закутке до темноты.

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.